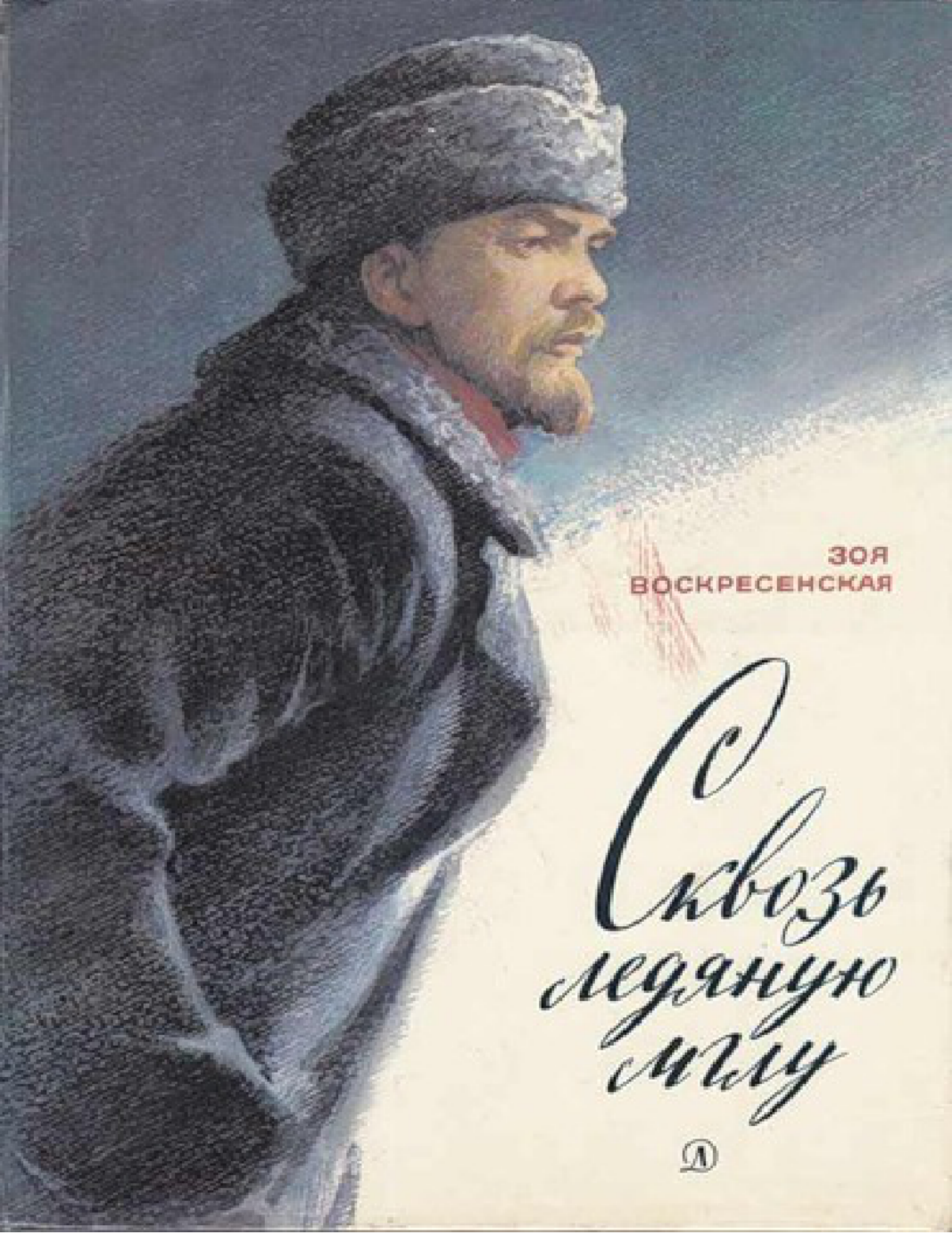

ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Сквозь ледяную мглу

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В цикле рассказов «Сквозь ледяную мглу» даны отдельные страницы из жизни и революционной деятельности Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской в 1906–1907 гг.

Рисунки И. Незнайкина

- Зоя Ивановна Воскресенская
  -
  - БЕССОННАЯ НОЧЬ
  - «ВАЗА»
  - ТИШИНА
  - ПО ДУШАМ

Зоя Ивановна Воскресенская
КАРПОВ

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Ветер ворвался в Летний сад, сдернул снеговые шапки с мраморных фигур, взъерошил сугробы на аллеях и покатил клубы снежной пыли через Фонтанку. На Пантелеймоновской улице раскачал фонарь, и узкий луч света, пробегая по церковной стене, вырвал из темноты буквы, начертанные древнеславянской вязью: «Сей храм воздвигнут в царствование императора Петра Великого».

На колокольне церкви Святого Пантелеймона зазвонил колокол. Эхом откликнулись часы в столовой.

Надежда Константиновна отняла от книги зажатую в пальцах булавку и прислушалась.

— Восемь… девять… десять… — шепотом считает она. — Десять часов. Скоро должен вернуться Ильич.

И снова под быстрыми пальцами замелькали буквы. Кончик булавки на мгновение прилипает к бумаге и, отрываясь с легким треском, перелетает от строки к строке. Большие, чуть близорукие глаза напряженно следят за булавкой. Получат товарищи эту книжку с ярко раскрашенной обложкой, просмотрят на свет страницы и по еле заметным наколотым точкам выпишут буквы. Буквы расположат по шифровальной таблице и прочтут ленинский наказ: изучить опыт борьбы прошлого, 1905 года, снова уйти, где надо, в подполье, готовиться к новым боям.

В дверь постучали.

Надежда Константиновна проворно приколола булавку к блузке, подперла голову руками и погрузилась в «чтение».

— Войдите!

В дверь бочком вошла хозяйка и с елейной улыбочкой осведомилась, не угарно ли, не желает ли квартирантка чаю, — самовар только что вскипел.

— Благодарю, — отвечает Надежда Константиновна. — Я подожду мужа. Он пошел к приятелям сыграть в преферанс.

Хозяйка проверяет, хорошо ли задвинута вьюшка в печке, и с любопытством смотрит на книжку.

— «Ожерелье испанской королевы», — читает она. — Наверное, весьма занимательная вещица, не одолжите ли почитать?

Квартирантка с сожалением отказывает — завтра утром должна вернуть эту книжку знакомой даме и сама спешит ее закончить.

Хозяйка вздыхает:

— Жаль! — Но уходить не собирается. Ей скучно, и она не

прочь поболтать. — До чего фамилия у вас завидная, Прасковья Евгеньевна. Я уж думала, вы и впрямь приходитесь дочкой Евгению Онегину. Но моя кузина высчитала, что Онегину было бы сейчас лет сто, а ведь вам всего лет тридцать пять, не более… Да и не дал бы, я думаю, Евгений Онегин своей дочери такое простонародное имя — Прасковья.

— Да, да, конечно, — спешит согласиться Надежда Константиновна.

— Околоточный рассказывал, — продолжает хозяйка, — что сам пристав интересовался, откуда завелась у него в околотке дочка Онегина. Околоточный даже и не слыхал, что жил на свете знаменитый Евгений Онегин.

— Я тоже не слыхала, что он жил. Это пристав выдумал, — говорит Надежда Константиновна и с тревогой думает, что по такому паспорту долго не проживешь. Угораздило же товарищей добыть ей паспорт на имя Прасковьи Евгеньевны Онегиной. И вот теперь эта дотошная барыня проявляет такое опасное любопытство…

Хозяйка собирается еще что-то спросить, но понимает, что разговора не получится, и так же бочком, бесшумно выползает из комнаты.

Надежда Константиновна вновь принимается за работу.

Письмо закончено. Поднеся раскрытую книжку совсем близко к лицу, она придирчиво просматривает страницы, ощупывает строчки. Сделано хорошо, охранка едва ли сможет обнаружить наколотые страницы. Надежда Константиновна прячет законченную работу в ридикюль.

Теперь надо разобрать и прочитать прибывшую почту. Она достает письма из глубоких карманов длинной суконной юбки, внимательно прочитывает каждое. Отдельные куски заучивает наизусть для Ильича, заучивает как в детстве, закрыв глаза, чуть шевеля губами.

Одно письмо привлекает ее особое внимание. Дата в углу — «Февраль 1906 года» — подчеркнута волнистой чертой. Это условный знак: письмо содержит тайнопись. «Придется опять гладить блузку», — усмехается Надежда Константиновна, прячет письма в карманы: прочитанные — в левый, непрочитанные — в правый, и отправляется на кухню просить утюг.

Услужливая хозяйка сама накладывает в утюг древесные угли, зажигает пучок сухих лучинок и ставит утюг в печную отдушину.

— Вы слыхали, — говорит она злопыхательно, — в нашем доме власти только что забрали двух курсисток… Социалисточки! Подумать только, какие бесстыжие! Поскорее бы расправились со

всеми этими смутьянами, тогда бы нам, честным людям, жилось спокойнее.

— Сомневаюсь, что нам от этого легче будет, — замечает Надежда Константиновна и изо всех сил дует в отверстие утюга.

— Уверяю вас, мадам, можете не сомневаться! Надежда Константиновна забирает утюг, сквозь круглые отверстия которого светятся разгоревшиеся угли, наливает чашку чая из остывшего самовара и, пожелав хозяйке спокойной ночи, уходит к себе в комнату.

Дверь запирает на крючок. Прежде всего надо спрятать заметки Ильича к съезду. Жандармы могут припожаловать и сюда, а рукопись во что бы то ни стало надо сохранить…

В ридикюле у нее всегда несколько книг для зашифрования писем, для хранения рукописей. «Хранилища» они изобрели вместе с одним партийцем-переплетчиком.

Надежда Константиновна берет книгу Свифта «Гулливер в стране лилипутов», осторожно отдирает золоченый коленкор с переплета и вытаскивает толстый картон. Вместо картона вкладывает рукопись Ленина, приклеивает коленкор и прячет книгу в ридикюль. Теперь рукопись в безопасности.

Она стелит на столе полотенце, поверх кладет письмо, расправляет его и легонько прижимает горячий утюг к листку. Еще и еще раз. И вот цифры еле заметными ржавыми точками проступают между строками письма.

«Какой же ключ к этому шифру?» Дата подчеркнута волнистой чертой… Ах, да! «Горные вершины спят во тьме ночной».

Надежда Константиновна — секретарь Центрального Комитета партии. Она держит связь с многочисленными организациями, и ей надо многое помнить: десятки ключей к шифрам, рецепты тайнописи, многочисленные адреса явочных квартир, пароли, псевдонимы… И все это хранить в памяти — бумаги могут подвести.

Товарищи пишут из Сибири. В далекую ссылку приходят тягостные вести. Московское декабрьское восстание потерпело поражение. Подавлены восстания рабочих в Нижнем Новгороде, в Перми, пала «Новороссийская республика». Революция докатилась до Сибири. В Красноярске и Чите власть перешла в руки Советов рабочих депутатов. Но и там выступления рабочих были жестоко подавлены. «Значит, революция разбита? Все потеряно? Существует ли еще партия?» — спрашивают товарищи.

Надежда Константиновна понимает, что люди теряют перспективу и, что еще страшнее, теряют веру в победу. Надо немедленно ответить. Она утюжит серенькую блузку, отделанную

черной тесьмой — чтобы хозяйка утром увидела ее наглаженной, — и думает над ответом.

Письмо получается большое. По внешнему виду оно пустяковое, домашнее, цензура на него не обратит внимания. Но между его строчками химическими чернилами написано многое… Революция, дорогие товарищи, не закончилась. Пролетариат не сложил оружия, в деревне продолжаются крестьянские волнения, неспокойно и в армии, особенно во флоте. Партия продолжает работу. Партия существует и погибнуть не может. Никогда! Нет такой силы, которая могла бы уничтожить партию пролетариата, так же как нет силы, которая смогла бы погасить солнце. Ильич не сомневается в революционной способности рабочего класса довести борьбу до конца…

Часы в столовой ударили один раз. Сколько это может быть? Половина первого? Час? Половина второго? «Наверное, только половина первого», — утешает себя Надежда Константиновна. Сегодня у Ильича жестокая схватка с меньшевиками. Обсуждается вопрос: как привлечь мужика к революции, может ли рабочий класс повести за собой крестьянство.

Владимир Ильич все утро готовился к этой схватке. Разойтись должны не позднее одиннадцати, но его нет. Видно, опять увязались за ним шпики и он кружит по улицам, чтобы оторвать «хво-ст»…

«Придет, с минуты на минуту явится». Надежда Константиновна спускает за шнур висячую лампу, прикручивает фитиль и задувает огонь: хозяйка не должна знать, что она не спит, окно в комнате не должно светиться в поздний час.

Из черной пасти неба сыплет и сыплет снег, покрывает улицу белым пологом. С визгом пронеслись мимо дома санки. Проскакал полицейский патруль.

Прислонившись к косяку окна и закрыв глаза, Надежда Константиновна вслушивается в звенящую тишину…

Под самым окном по скрипучему снегу чьи-то быстрые шаги. Она не открывает глаз — это не он, не его шаги. Его шаги она узнает из тысячи.

«А ведь Володя ушел без теплого жилета», — вдруг вспоминает Надежда Константиновна и подходит к шкафу. Осторожно открывает дверцу — чтобы не скрипнула — и шарит в темноте руками. Нащупывает пушистую, мягкую шерсть — этот жилет она купила ему два года назад в Женеве. «Как это я просмотрела? — досадует она. — На улице такой сильный мороз».

Мысли все тревожнее, сердце бьется беспокойнее.

«Надо переключиться на что-нибудь другое, думать о

радостном…»

Восемь лет назад она поехала с матерью в село Шушенское, к Владимиру Ильичу, отбывать вместе с ним и свою ссылку. Очень волновалась. Больше всего боялась первой минуты встречи. Везла ему в подарок керосиновую лампу под зеленым абажуром и страх как берегла, чтобы не разбить в дороге. Все шесть тысяч верст в руках везла.

В майский солнечный день преодолели последний этап пути. Сошла с повозки торжественная, с лампой в руках. В избах распахнулись окна, и во всех окнах любопытные лица. Только в доме Зыряновых окна были закрыты. Всеведущие мальчишки сообщили, что Владимир Ильич ушел на охоту и будет поздно вечером.

Было немножко неловко и ужасно смешно: невеста приехала, а жениха дома нет. Виноват же во всем был Енисей — взломал льды, разлился весенним морем, вот и сидели с мамой у этого моря и ждали, пока оно в речные берега войдет…

Вечером спрятались в комнате хозяев, узлы и корзины сдвинули в угол и накрыли рядном. Владимир Ильич взбежал на крыльцо, распахнул дверь и остановился, вглядываясь в загроможденный угол. Подошел хозяин и что-то стал объяснять.

Надежда Константиновна стояла за перегородкой затаив дыхание. Потом не выдержала, вышла на цыпочках в комнату и закрыла ему глаза ладонями. «Надюша!» — прошептал он радостно…

Часы пробили пять раз. Пять часов утра. Неужели арестован? Надо ждать, терпеливо ждать, уговаривает она себя и снова вспоминает.

…Вечером на следующий день собралась вся шушенская компания: ссыльные Оскар Энгберг и Проминский со своим многочисленным семейством. Владимир Ильич зажег лампу под зеленым абажуром и все время поглядывал на нее.

Надежда Константиновна рассказывала о Питере. Потом пели песни. Владимир Ильич попросил ее почитать стихи. Как хорошо в тот вечер звучали знакомые с детства стихи Мицкевича:

— Ну, руку в руку! Шар земной
Мы цепью обовьем живой!
Направим к одному все мысли и желанья,
Туда все души напряжем!
Земля, содвинься с основанья!
На новые пути тебя мы поведем…

…Бьет церковный колокол.

Ему вторит звон часов в столовой.

Надежда Константиновна мысленно обходит явочные квартиры и места ночевок, куда бы мог пойти Ильич. Отовсюду дали бы знать. Значит…

«Да нет же, нет! — отмахивается она от мрачных мыслей. — Напрасно беспокоюсь. Мало ли что могло задержать… Придет и подробнейшим образом «доложит», как разбивал доводы Мартова и Дана, и с каким волнением при голосовании чуть ли не вслух считал поднятые руки, и как обрадовался, увидев, что его резолюция получила большинство».

Холодный рассвет заползает в комнату, окрашивает все в мертвенно-серый цвет. Заскрежетала лопата дворника по мерзлой панели. Послышались первые звонки конок. Квартира оживает. Слышно, как кухарка шлепает босыми ногами по крашеному полу, гремит самоваром. Хозяйка что-то сердито выговаривает домочадцам. По квартире разносятся утренние запахи — от лучинок, которыми разжигают самовар, гуталина, туалетного мыла.

Прошлась по комнате, невзначай глянула в зеркало и нахмурилась: за ночь осунулась и побледнела. «Так не годится», — попрекает она себя и идет умываться. Холодная вода освежает.

«Ждать буду до девяти, а потом поеду к Книпповичам, посоветуюсь, как быть», — решает она. Выпивает холодный чай, покрывшийся сизой дымкой, вырывает из тетради лист бумаги и, постукивая пером о стеклянное дно чернильницы, думает над содержанием записки.

Аккуратным, четким почерком пишет: «Ушла к подруге, буду после двенадцати. Не скучай». Откалывает от блузки булавку, которой ночью шифровала письмо, и прикрепляет записку на видном месте к тюлевой занавеске. Это больше для любопытной хозяйки, чем для Ильича. Она уже понимает: Ильич сюда больше не придет.

В окно шлепаются снежки. Один, второй, третий. Кто-то бросает их меткой рукой.

— Кто это? Неужели он? — шепчет Надежда Константиновна и, еле сдерживая стремительный шаг, идет открывать дверь в подъезде.

Пальцы липнут к железу — видно, сильный мороз — и не справляются с толстым крюком.

— Сейчас, сейчас, — говорит она, обжигая пальцы о железо.

Наконец крюк отброшен, она распахивает дверь: на пороге парнишка в куртке не по росту, в треухе, за плечами на палке болтается пустой мешок.

— Старье берем, шурум-бурум принимаем, — блестя темными глазами, произносит заученные слова парнишка. Заметив озабоченный вид Надежды Константиновны, он спрашивает: — Не помните? Я — Ромка, ястребок. Я вас знаю, вы в Подвижном музее работаете.

— Тс-с-с!.. — прикладывает к губам палец Надежда Константиновна. — Проходи в комнату.

Ромка сбивает с валенок снег и идет за ней.

— Конечно, я сразу тебя узнала, Роман. Случилось что-нибудь? — не может скрыть тревоги Надежда Константиновна.

— Да вы не беспокойтесь, — чуть слышно говорит он, — дядя Ефим велел сказать, что все в порядке. И письмо вам есть. В валенке. Сейчас достану… — Ромка снимает с ноги огромный подшитый валенок. — Вот, — протягивает он слегка измятый и теплый конверт.

Непослушными пальцами Надежда Константиновна отрывает кромку конверта, вытягивает небольшой листок.

— «Уважаемая Прасковья Евгеньевна! — читает она. — Погода у нас прескверная. Пришлось покупать новые валенки, чтобы не отморозить ноги. Очень беспокоимся о вашем здоровье. Ждем Вас сегодня к нам. Привезите с собой синюю с белым хрустальную вазу…» Синюю с белым хрустальную вазу… — повторяет Надежда Константиновна, и Ромка видит, как радостно засветились ее глаза.

«Какое счастье, — думает она, — жив, не арестован. Слежка была упорная. Пришлось скрыться в Финляндию… Ждет меня на даче «Ваза».

— Спасибо, дружок, спасибо, — пожимает она мальчику руку. — Как ты добрался сюда? Хвост за собой не заметил?

— Что вы? Разве я маленький? — отвечает Ромка. — С хвостом я бы сюда не пришел.

Надежда Константиновна достает из дорожной сумки книгу «Ожерелье испанской королевы».

— Передай Ефиму Петровичу. Сейчас же. А вот эту возьми себе. — Она протягивает Ромке книгу в красном переплете, украшенном цветами и фигурками. В золотом кругу крупными буквами вытиснено: «Сочинение Жюля Верна. Таинственный остров».

Ромка полистал книгу и прижал ее к себе — картинок в ней много и все такие завлекательные!

— Интересная?

— По-моему, очень интересная книга. В детстве я прочла ее два раза подряд не отрываясь. — Надежда Константиновна довольна, что подарок понравился.

— Насовсем? — с надеждой в голосе спрашивает Ромка.

— Да, да, конечно.

Мальчик осторожно засунул обе книги за пазуху.

— Спасибо, я побежал, — вдруг заторопился он.

— Тебе спасибо, — отозвалась Надежда Константиновна. — Передай привет Ефиму Петровичу, скажи, что вазу привезу сегодня же.

Ромка уходит. Надежда Константиновна укладывает в саквояж вязаный жилет Владимира Ильича, серенькую блузку, отделанную черной тесьмой, и разную мелочь.

«Вот и все наше имущество, — думает она. — Хорошо!» Вещи приковывают человека к месту, мешают чувствовать себя свободным.

* * *

Надежда Константиновна вышла из поезда на станции Куоккала. Ослепительно сияло солнце, отраженное в снегах. По дымчатому снежному полю до леса яркой белой лентой вьется тропинка. Сверху сыплется сверкающая пыль инея. Вокруг потеплевших стволов деревьев голубые лунки — предвестники весны.

В лесу притаилась тишина.

Небольшой деревянный дом под мохнатыми соснами выглядит сегодня нарядно: шапка снега над башней-верандой и нависшие над окнами снежные карнизы придают ему сказочный вид.

Владимир Ильич увидел Надежду Константиновну из окна и вышел ей навстречу.

— Наконец-то! Ты волновалась, не спала? — заботливо спрашивает он.

— Нет, нет, спала как сурок. Рано утром меня разбудил Ромка, принес письмо от Ефима Петровича. Я все знаю. — Надежда Константиновна прислушалась. — У тебя уже народ?

— Да, работаем над тактической платформой к съезду. Заходи, поможешь.

Надежда Константиновна вынула из сумки Свифта.

— Здесь твои заметки.

— В Гулливере? Очень кстати.

Владимир Ильич провел Надежду Константиновну в столовую.

Она хотела остаться незамеченной и присела на свободный стул в углу комнаты, но ее окружили товарищи, шумно

приветствовали.

Она не любила быть в центре внимания, стеснялась, сердилась на свою застенчивость и от этого смущалась еще больше. Владимир Ильич пришел ей на выручку.

— Итак, продолжим, — пригласил он товарищей. — Мы пришли с вами к выводу, что главной политической задачей пролетариата, нервом всей его работы, душой всей его организационной классовой деятельности должно быть доведение до конца демократической революции. Отсюда главная политическая задача партии — подготовка сил и организация пролетариата к вооруженному восстанию…

Владимир Ильич поднялся из-за стола, провел ладонью по темени снизу вверх и, подняв руку, восхищенно воскликнул:

— За пролетариатом поднимется широкая народная масса, и эти силы доведут до полной победы буржуазно-демократическую революцию, они откроют эпоху социалистического переворота на Западе. Каково? — рассмеялся он счастливым смехом. — Подумайте только, товарищи, ведь теперешнее мрачное спокойствие — это затишье перед бурей. Контрреволюция торжествует. Но конец этого торжества близок. Над миром поднимается красная заря, грядет пролетарская революция, и она победит, непременно победит, товарищи… Ну-ну, — остановил он весело зашумевших товарищей, — немножко помечтали, хорошо помечтали, а теперь давайте рассмотрим нашу следующую резолюцию — об отношении к Государственной думе… Думу мы признаем не парламентом, а полицейской канцелярией и отвергаем какое бы то ни было участие в комедиантских выборах… Здесь нам тоже придется подраться с меньшевиками…

Питерские большевики сидели за большим обеденным столом, покрытым суровой скатертью. Перед каждым — тетрадь с записями. Подготовка к Объединительному съезду в полном разгаре. У рабочего класса должна быть единая партия с единой программой действия — программой большевиков.

«ВАЗА»

На краю гранитной скалы легким зеленым облаком распушилась березка, рядом на огромном валуне укрепилась сосна, словно ей захотелось подняться повыше и взглянуть на окружающий мир. Горькой свежестью пахнут молодые березовые листья, а от черемухи и в лесу душно. Еще три недели назад, когда Владимир Ильич уезжал на съезд в Стокгольм, только сосны и ели выглядели нарядными среди голых деревьев, а теперь все цветет первыми, неяркими, неприметными цветами.

Весна пришла в финляндский лес.

По лесной дорожке на велосипедах едут двое. Надежда Константиновна уговорила Владимира Ильича совершить прогулку — передохнуть после напряженной работы на съезде. С широкой проселочной дороги она свернула на эту лесную тропинку, чтобы ехать друг за другом и не дать возможности Владимиру Ильичу разговаривать.

— Надюша, не пора ли сделать привал? — интересуется Владимир Ильич.

— Ты уже устал? — откликается Надежда Константиновна.

— Нет, не устал, но…

— Еще немного, за поворотом будет красивая поляна, там и отдохнем.

Владимир Ильич не помнит, где эта поляна.

— Надюша, у меня спустила камера, — решительно говорит он и спрыгивает с седла.

Надежда Константиновна спешит на помощь. Подхватив двумя пальцами подол длинного платья, она бежит по тропинке, и солнечные блики, пробиваясь сквозь кружево зелени, танцуют в ее волосах.

Поравнявшись с велосипедом, она стучит носком туфли об одно колесо, о другое. Оба колеса тугие, упругие. Надежда Константиновна недоумевает:

— Все в полном порядке.

Он выдерживает ее испытующий взгляд.

— Значит, показалось, — говорит Владимир Ильич виноватым голосом и ставит свой велосипед рядом с велосипедом Надежды Константиновны.

— Так и быть, будем отдыхать, — соглашается она. — Ты только посмотри, какая красота кругом! А воздух-то, воздух какой! Дыши глубже…

— Прекрасно… прекрасно… — говорит рассеянно Владимир Ильич.

— Ты опять нервничаешь! — огорчается Надежда Константиновна. — Нарушаешь уговор. Посмотри, какие одуванчики на пригорке, словно пучки солнечных лучей. И сколько их! — Она срывает цветы и протягивает Владимиру Ильичу: — Смотри, как золотые!

— Было бы недурно, если бы они были и впрямь золотые. Тогда бы мы не испытывали этих дьявольских финансовых трудностей. Как нужны сейчас деньги, Надюша, ах как нужны! И много денег. Очень много.

— Да, деньжат в партийной кассе маловато, — соглашается она. — А газета дорого стоит.

Владимир Ильич все более волнуется:

— Большевистская правда должна стать достоянием всей партии, всего рабочего класса. Нужна газета, и не одна…

— Володя! — останавливает его Надежда Константиновна. — Ты очень изменился, дурно выглядишь… Тебе надо отдохнуть.

— Да, я переустал, — соглашается Владимир Ильич. — А как тебе понравился Плеханов? А? Мирком да ладком с буржуазией! А Акимов? Помнишь, тот без всяких обиняков предложил поддерживать кадетов и разносил меня за оценку их роли. Он высказался даже более откровенно, чем его братья меньшевики… Удивительный народ эти меньшевики. Сколько нудного, интеллигентского словопрения и столько холопства!

Надежда Константиновна мягко кладет ему руку на плечо:

— Володя, может быть, обсудим все это завтра вместе с товарищами? А сейчас будем собирать цветы. Мне хочется повезти маме в Питер большой букет. Помоги.

— Цветы? — спрашивает Владимир Ильич и с укоризной говорит: — Нехорошо обманывать друг друга. Я должен высказать тебе все свои мысли. Мне это необходимо, как дыхание. А разве тебя это не волнует?

Надежда Константиновна понимает, что увести Ильича от разговора о съезде невозможно, и она шутливо предупреждает:

— Я буду слушать тебя, но, чур, не нервничать и не воображать, что перед тобой меньшевики… Ведь теперь мы с ними объединились.

— Как масло с водой. Принятие съездом меньшевистских резолюций — дело случая. Меньшевики воспользовались численным перевесом. — Владимир Ильич прищурил левый глаз и вглядывается в глубь леса, и Надежда Константиновна знает, что он уже не видит ни деревьев, ни цветов: он снова в обстановке съезда.

— А какие другие результаты можно было ожидать? — говорит она. — Сорок шесть большевиков против шестидесяти

двух меньшевиков.

— Побежденным я себя не чувствую, нет, — делает решительный жест рукой Владимир Ильич. — Съезд был нужный. У рабочего класса теперь единая партия. Мы отчетливо идейно размежевались. Это очень, очень важно.

— Что же теперь делать?

— Драться! — восклицает Владимир Ильич. — Мы поведем борьбу за нашу правду. Я об этом съезде хочу написать письмо питерским рабочим. Сегодня же засяду. Расскажу подробно и откровенно, как все было. И очень хочется мне, Надюша, выступить перед большой рабочей аудиторией, потолковать по душам, поговорить с глазу на глаз…

Надежда Константиновна слушает его со все возрастающим волнением. Ей так же дороги интересы партии, интересы рабочего класса.

— Но это невозможно, — протестует она. — При той слежке, которая за тобой ведется, это просто немыслимо.

— А может быть, и подвернется счастливый случай…

Оба замолкают.

Владимир Ильич смотрит вокруг и словно впервые видит весенний лес, слышит хлопотливый гомон птиц. Совсем близко мерно ухает море.

— Хорошо! Очень хорошо! Красиво здесь и даже торжественно. Очень успокаивает. Помнишь, месяц назад мы гуляли с тобой, под ногами хрустели ледяные корки, лес совсем был редкий, а теперь какая чащоба! — Владимир Ильич захватывает в пригоршни ветки молодого дуба, рассматривает новорожденные красноватые и сморщенные листья. — Хорошо!

Надежда Константиновна с облегчением вздыхает. Она понимает, что страшное напряжение у Ильича спало.

— Слышишь, как шумит море? — спрашивает она.

Море совсем близко. Волны набегают на пологий берег, ворошат сероватую гладкую гальку, словно ищут чего-то, и, обессиленные, сползают назад; на смену им катят другие волны. Неумолчно, непрестанно ухает море, набегают на берег волны.

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно,—

напевает Владимир Ильич. Эту песню он любит с юности. Пел ее дуэтом с сестрой Ольгой.

Надежда Константиновна сидит на пеньке. Охватив колени сцепленными руками, она подтягивает:

Но туда выносят волны
Только сильного душой!
Смело, братья!
Бурей полный,
Прям и крепок парус мой.

Как хорошо чувствовать себя молодым, сильным!

В который уже раз приходит в их жизнь весна, и каждый раз она по-новому прекрасна. Прекрасна и трудна.

Владимир Ильич уже весело шутит. Грозит пальцем Надежде Константиновне, прищурив левый близорукий глаз. Это придает ему лукавый вид.

— Ваш тактический прием, милостивая сударыня, был разгадан в самом его зародыше. Сознайтесь, вы не случайно завели меня на эту узкую тропинку, в эту чащобу, чтобы ехать друг за другом и не дать мне возможности говорить… Вы думали, сударыня, отвлечь меня от мрачных мыслей? Да?.. Так вот, поэтому мне и «показалось», что я проколол камеру.

И оба смеются звонко и заразительно, и птичий гомон становится оживленнее.

— А теперь не пора ли ехать домой? — спрашивает Владимир Ильич. — Но возвращаться мы будем по широкой проселочной дороге.

— Хорошо, хорошо, — соглашается Надежда Константиновна, счастливая от сознания, что ей удалось хоть немного рассеять Владимира Ильича. Она легко садится на седло. — Догоняй!..

Солнце клонилось к западу, когда подъезжали к дому.

— Держу пари — у нас в гостях Владимир Мартынович, — говорит Владимир Ильич, придерживая калитку, чтобы пропустить Надежду Константиновну, — видишь, у крыльца галоши и на перилах зонтик.

— А дождя не было уже дней десять, — весело замечает она.

Оба они любят этого человека.

Несколько лет назад, когда Владимир Мартынович был студентом Петербургского университета, он прочитал книгу Ленина «Что такое «друзья народа»…». Дома он торжественно объявил своей матушке, что наконец нашел цель в жизни и отныне все свои духовные и физические силы посвящает рабочей революции. Виргиния Карловна привлекла к себе сына и подумала: «Я всегда знала, что мой утенок будет лебедем», а вслух сказала: «Я с тобой, сынок». Первый адрес явочной квартиры и пароль Виргиния Карловна спрятала под валиком своей пышной прически.

Владимир Мартынович обосновался в Гельсингфорсе — так посоветовал партийный комитет, — работал библиотекарем в университетской библиотеке. Жили вдвоем с матушкой. По вечерам на Елизаветинской улице слышались звуки старинных романсов, и жители знали, что почтенная «Виргиния Смирнофф» со своим сыном «Вольдемаром» в четыре руки играют на фисгармонии. И сам полицмейстер города Гельсингфорса высмеял бы каждого, кто стал утверждать, что русский библиотекарь Владимир Смирнов и его добродушнейшая матушка занимаются опасной революционной деятельностью.

Товарищи рассказывали, как однажды Владимир Мартынович израсходовал на партийные дела, связанные с транспортом

нелегальной литературы, все свои сбережения и сбережения Виргинии Карловны. Когда товарищи из партийного комитета хотели возместить его расходы, Владимир Мартынович не на шутку обиделся: «Я посвятил революции жизнь, так зачем же говорить о деньгах…»

Смирнов сидел на веранде. Владимир Ильич дружески протянул ему руку и, чтобы дать возможность справиться со смущением — Владимир Мартынович заикался, — стал весело рассказывать, как на обратном пути со съезда у Аландских островов их сильно потрепала буря. Все — и большевики и меньшевики — одинаково страдали морской болезнью.

— Вот здесь единение было полное, — смеясь, заключил Владимир Ильич.

— Как поживает ваша матушка? — осведомилась Надежда Константиновна.

Владимир Мартынович передал ей привет от Виргинии Карловны и сказал, что она хотела поехать вместе с ним, но дом у них сейчас полон родственников.

— Нельзя же всех этих тетей, дядей, племянников и сестер оставить без присмотра, — заметил он.

— Их у вас так много? — удивилась Надежда Константиновна.

— Племянников саженей сто, а дядей пудов десять, — ответил Владимир Мартынович и поймал на себе веселый недоумевающий взгляд Владимира Ильича.

Смутившись, что сказанное им походит на неуместную шутку, он пояснил: «племянники» — это бикфордов шнур «дяди» — динамит, «тети» — бомбы, а «сестры» — нелегальная литература.

— Это мы с боевиками на таком эзоповском языке разговариваем.

— Замечательно! — воскликнул Владимир Ильич. И Виргиния Карловна осталась одна со всем этим хозяйством?

— Да, да, — подтвердил Владимир Мартынович. Он ужесправился со смущением и не заикался. — Я ее просил только не использовать бикфордов шнур в качестве упаковочного материала. Однажды она уже сделала это. А «дядю» товарищи обещали забрать — у матушки от него болит голова.

— И в библиотеке у вас тоже полно «родственников»?

— Многовато, Владимир Ильич. Я затем и приехал, чтобы кое-что выяснить. Меки — извините, бывшие меньшевики — теперь ведь мы объединились…

— Меньшевики меньшевиками и остались, — заметил Владимир Ильич. — Этот съезд показал, что у рабочего класса

может быть только одна партия — партия большевиков… Да, да, я вас слушаю, Владимир Мартынович.

— Так вот, эти самые меньшевики утверждают, что съезд высказался против вооруженного восстания и теперь, мол, оружие ни к чему…

— Все ваши «родственники», Владимир Мартынович, пролетариату пригодятся. Только выселить их надо и из библиотеки, и из вашей квартиры. А резолюция съезда о вооруженном восстании, навязанная меньшевиками, неправильная, и настанет время, когда ее поправят, поправят на деле, если не успеют изменить на бумаге.

— Так я и думал, — обрадовался Владимир Мартынович. — Тогда вопросов у меня больше нет. Я еще успею на вечерний поезд, не правда ли?

— Мы еще успеем поужинать. Я все приготовила, — отозвалась Надежда Константиновна и пригласила к столу.

Сгустились сумерки. Неправдоподобно большая луна повисла над домом и отразилась в разноцветных стеклах веранды. Хозяин-швед назвал этот дом «Ваза» в честь шведской королевской династии. Он и не помышлял о том, что в течение двух лет первой русской революции этот дом будет служить убежищем для человека, который утвердит и возвеличит самый угнетенный и обездоленный класс общества — класс пролетариев.

ТИШИНА

Вот уже несколько минут директор департамента полиции, прижав к уху телефонную трубку, слушает гневный голос министра внутренних дел. Бледное лицо шефа полиции покрылось малиновыми пятнами. Он пытается что-то сказать, но не может уловить паузы, чтобы вставить свое слово.

Перед столом директора департамента сидит адвокат Огородников, член Государственной думы, деятель кадетской партии. Он удобно расположился в кресле и, вытянув по ковру ноги, обутые в щегольские венские штиблеты, с тонкой усмешкой прислушивается к тяжелому дыханию шефа.

На стене висит портрет Николая II. Огородникову кажется, что царь лакированными сапогами опирается на лысину директора департамента полиции.

— Будет исполнено, господин министр! Примем все меры! Честь имею кланяться! — выпалил наконец шеф полиции и повесил трубку. Вытирая платком лицо, он покосился на Огородникова — не понял ли тот, как разносил его министр. — Прошу прощения. Дела, дела… Итак, я к вашим услугам.

— Влияние нашей партии, как вам известно, растет, — продолжал прерванную мысль Огородников. — В Государственной думе, на которую столь рассчитывает правительство, мы имеем больше трети мест. Это одно уже говорит о том, что народ идет за нами, за партией Народной свободы.

— Народ-то народ, а вот рабочие, милостивый государь! — пытается съязвить директор полиции, но и Огородников не остается в долгу.

— Видите ли, — говорит он, — бойкот Думы, к которому призывает социал-демократическая партия, вернее, часть ее, возглавляемая Лениным, сделал свое дело. Если бы не помощник присяжного поверенного Ульянов-Ленин, вам бы тоже не пришлось иметь этот неприятный разговор по телефону.

«Вот собака, слышал, все слышал», — подумал шеф, но сделал вид, что не почувствовал щелчка.

— Так вот, — продолжал Огородников, — нам надо сломить бойкот рабочих. Девятого мая, в день перенесения мощей святителя Николая из Мирликийска в Барград, в доме графини Паниной созывается публичное собрание. Мы приглашаем рабочих со всех районов Питера. Будут выступать наши лучшие ораторы. Придут противники Ленина из его же партии.

— Меньшевики? — уточняет шеф.

— Так точно. Весьма благонамеренные люди, хоть и социалисты. Мы предложим собранию резолюцию в поддержку нашей партии, в поддержку Государственной думы. Карта Ленина с бойкотом Думы будет бита.

Шеф повеселел:

— Отлично! Ловко придумано, господин Огородников.

— Я бы просил ваше превосходительство распорядиться, чтобы на митинг не присылали жандармов. Вокруг дома не должно быть полицейских и этих… — Огородников брезгливо поморщился, — филёров. Благопристойность митинга обеспечит правление нашей партии.

— Хорошо, хорошо, я дам распоряжение, — спешит согласиться шеф и думает о том, что в борьбе с главным злом — социал-демократией — все средства хороши, кадеты тоже.

Шеф полиции и член правления кадетской партии простились, довольные друг другом.

Адъютант доложил, что прибыли начальник губернского жандармского управления генерал-майор Клыков и начальник охранного отделения полковник Герасимов.

— Проси, — распорядился шеф и стал сердито перебирать бумаги на столе. Не поднимая головы, он буркнул что-то невнятное — не то «садитесь», не то «стыдитесь», — и генерал и полковник решились сесть.

Продолжая перекладывать бумаги, директор департамента приказал Клыкову доложить обстановку в столице.

— По сведениям, представленным мне фабричной инспекцией, сегодня, первого мая, в Санкт-Петербурге бастует пятьсот…

— Разрешите заметить, более пятисот, — поправил начальника жандармского управления начальник охранки.

Клыков недовольно кашлянул и продолжал:

— Пятьсот с лишним промышленных заведений, сто двадцать тысяч рабочих не вышли на работу. Вверенные мне чины жандармерии не допускают скопища мастеровых, конфискуют знамена и красные нагрудные банты. В столице с утра было тихо, особых столкновений и эксцессов не произошло.

Шеф вскипел, и лицо егоопять покрылось малиновыми пятнами.

— «Было тихо! Было тихо»! — крикнул он. — Я сам слушал эту тишину, будь она трижды проклята. Ни одного гудка! Такая тишина страшнее артиллерийской канонады. Вы что, забыли, генерал, прошлогоднюю «тишину»?

Нет, этого никто не забыл. Все помнили, как в прошлом, 1905 году по воле рабочих погасли топки в котлах, не текла вода по

трубам, не выдавался уголь на-гора, не бегали конки, паровозы застыли в депо. Рабочие вышли на улицы и потребовали: «Долой царское самодержавие!»

— Полтора года мы ведем борьбу со смутой, чуть ли не вся страна объявлена на военном положении, а сегодня в столице бастуют все промышленные заведения, все…

— Не все, далеко не все, ваше превосходительство, — попытался успокоить его Клыков. — «Арсенал» не бастует, пивоваренный завод Дурдиева работает…

— Я был бы счастлив, — воскликнул шеф почти торжественно, — если бы сегодня бастовал «Арсенал»! Да! Было бы отлично, если бы бастовал пивоваренный завод Дурдиева. Да! — Шеф стучал по столу то правым, то левым кулаком, раскачивался из стороны в сторону, и Клыкову и Герасимову показалось, что портрет царя теряет опору. — Мы выстроили бы с вами этих рабочих и — с места шагом ма-а-рш! — отправили бы в Сибирь. А сто двадцать тысяч рабочих вы тоже в Сибирь сошлете? А? Кто виноват в том, что сегодня бастуют все заведения столицы? Кто? — Шеф перевел свои выпуклые глаза на тонкое лицо с умным и холодным взглядом начальника охранки.

— Преступное сообщество, именуемое социал-демократией, ваше превосходительство, — ответил Герасимов. — Это они распространили в столице тысячи и тысячи листовок…

— А вы что зеваете?

— Я полагал, что порядок в столице — дело жандармского управления и полиции. — Герасимов скосил холодные глаза на Клыкова. — Мы, как вам известно, всецело заняты выявлением боевых рабочих организаций, складов оружия. В них главное зло.

— Главное зло в тайных печатнях, — раздельно и веско произнес Клыков. — Но с прискорбием должен отметить, что полковник Герасимов со своими людьми не может обнаружить эти печатни. Листовки подстрекают мастеровых на преступные дела, через листовки социал-демократы оповещают рабочих о своих планах. В печатнях главное зло.

— Позвольте, генерал, — едва сдерживая ярость, перебил его снова Герасимов.

— Не грызитесь, господа, не грызитесь, — строго заметил шеф. — Не туда целитесь. Дело много сложнее и куда проще. Подумали ли вы о том, какую власть над душами рабочих имеет Ульянов? Не тут ли корень зла? С боевыми организациями и террористами полковник справляется отлично. Но вот Ленин! Его книжки возмущают умы миллионов… Я давно подписал приказ о его аресте: почему он не выполнен? Я вас спрашиваю, почему? Полковник, доложите, какие вы имеете сведения об Ульянове-

Ленине?

Герасимов недобро посмотрел на Клыкова и отчеканил:

— Ульянов почти ежедневно выступает на конспиративных совещаниях в Петербурге. Скрывается в Финляндии, куда нам заглядывать не велено. В прошлом месяце ездил на партийный съезд в Стокгольм. Каждый день печатает статьи в большевистских листках.

Шеф явно благоволил Герасимову, надеясь на его тайных агентов и филёров больше, чем на полуграмотных и тупых жандармов Клыкова.

— Полковник знает об Ульянове все. Почему же вы, генерал, на основании его донесений не арестовываете Ульянова?

Клыков уловил недоброжелательство к себе и решил направить огонь на Герасимова:

— Полковник знает об Ульянове все. Он знает, где Ульянов был вчера, где находился два часа назад, а вот где он находится в эту минуту и где будет ночевать сегодня — этого-то полковник не знает.

Герасимов даже не повернул головы в сторону генерала.

— Ульянов весьма и весьма опытный конспиратор, ваше превосходительство, и тем не менее мои филёры видят его почти ежедневно и тотчас докладывают в жандармское управление.

— А что толку? — раздраженно спросил Клыков. — Что толку в их докладах? Это все равно что извещать, что в стоге сена спрятана иголка. Мы не можем задерживать лиц, разыскиваемых судом.

— Господа, я призываю вас к благоразумию! Ленин доступен тысячам черни и недосягаем для нас с вами. Да возможно ли это? Что у него есть: деньги? солдаты? У него, если хотите знать, нет даже собственной квартиры, и все его имущество можно уложить в солдатский сундук. Почему же сегодня сто двадцать тысяч рабочих Петербурга подчинились ему? В чем его сила? В чем, я вас спрашиваю?

— Ульянов сумел внушить рабочим, что они могут быть вершителями судеб всего человечества, — попытался оправдаться Герасимов.

— Нужно сделать так, чтобы у рабочих не было этого талантливого адвоката, а у нас с вами подобного прокурора. Запомните, господа, ваша честь, ваша карьера поставлены на карту. Пока существует социал-демократическая партия и Ленин на свободе, нам непозволительно спать спокойно. Я даю вам право арестовать его в любом месте. — Шеф отдавал себе отчет, что его собственная карьера зависит от усердия жандармерии и охранки, и поэтому был милостив к генералу и полковнику. —

Пора снять голову с революционного туловища, — многозначительно заключил он.

Клыков и Герасимов поднялись.

— Будет исполнено, ваше превосходительство, — щелкнули они разом каблуками.

— И, кстати, — остановил их шеф, — кадеты затеяли умное и полезное отечеству дело. Девятого мая в доме графини Паниной собирается народный митинг. Вы, генерал, своих жандармов туда не посылайте. Вам же, полковник, не мешало бы самому побывать там и поучиться, как вести борьбу с социал-демократами. В Народном доме есть телефон, будете держать связь с генералом. Действуйте!

Клыков и Герасимов откозыряли.

ПО ДУШАМ

Наступил день 9 мая.

Моросил дождь, лохматые тучи низко ползли над Питером, задевая за шпиль Петропавловской крепости, Адмиралтейскую иглу, купол Исаакиевского собора. После полудня тучи разошлись, оставив на голубом небе клочья серых облаков.

К вечеру питерская окраина за Обводным каналом преобразилась. По Лиговке, как по Невскому проспекту, ехали экипажи с нарядными барынями и господами. Конки были переполнены. По панели густо шли рабочие. Все спешили в Народный дом графини Паниной. Лиговские обыватели сидели на скамеечках под акациями, которые даже в этот майский день выглядели чахлыми, и с любопытством наблюдали за необычным шествием. К митингам и манифестациям люди за последние полтора года привыкли, но вот чтобы господа и рабочие собирались вместе — такое видеть еще не приходилось.

В Народном доме шла подготовка к собранию: скатывали ковровые дорожки в коридорах, на втором этаже в вестибюле раздвигали в стороны белые мраморные фигуры и кадки с шуршащими пальмами, в зрительном зале задергивали тяжелые портьеры на стрельчатых окнах, чтобы белая питерская ночь не смешивалась со светом огромной люстры. На сцене поставили в ряд столы и покрыли их зеленой плюшевой скатертью.

Митингбыл назначен на девять часов, но уже к восьми часам публика заполнила зрительный зал.

За кулисами в актерской комнате собрались деятели кадетской партии. Панина приехала последней. Миллионершу приветствовали стоя. Софья Владимировна была хороша собой и одета нарочито скромно, под народную учительницу.

— Я еле пробралась в собственный дом, — оживленно рассказывала она. — Тамбовская и Прилукская заполнены народом. Рабочие в праздничной одежде. Волнующее зрелище. Народ тянется к нашей партии, господа.

— Народ вручил свои судьбы партии Народной свободы, — высокопарно отозвался Огородников.

Панина вынула из-за пояса крохотные часики:

— Девять часов. Пора открывать.

Руководители кадетской партии двинулись в зал. Огородников заметил за кулисами маленькую фигуру меньшевика Дана.

— Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, Федор Ильич, — пригласил он.

— Благодарю, — ответил Дан, — я пойду в массы, к рабочим, там мое место, — и стал пробираться в зрительный зал.

Зал гудел.

Народу набилось так много, что не только сесть, но и встать было негде.

Надежда Константиновна пришла задолго до начала митинга и заняла место поближе к сцене и к проходу. Неприметным кивком головы она здоровалась с товарищами по партии, осматривала зал. Рабочих большинство, и среди них, как цветочные клумбы, питерские барыни в модных шляпках с цветами. Жандармов не видно. Из-за тяжелой портьеры на окне выглядывает смышленое лицо Ромки, значит, и Ефим Петрович должен быть где-то поблизости.

Графиня Панина в сопровождении свиты деятелей кадетской партии вышла на сцену, благосклонно приняла аплодисменты. Дамы занялись обсуждением покроя платья графини и внешности мужчин. Рабочие смотрели выжидательно.

— О чем говорить-то будут? — спросила громко пожилая работница.

— Байки сказывать про хорошую жизнь! — ответил рабочий в кумачовой рубашке.

— А будет она — хорошая жизнь-то? — допытывалась женщина. — Всё для господ. Они хорошей жизнью распоряжаются.

В левом проходе, забитом людьми, началось какое-то движение. Группа рабочих-дружинников энергично прокладывала себе путь. Среди них — Владимир Ильич. Он одет в синюю косоворотку и рыжеватый двубортный пиджак, который ему широковат. Надежда Константиновна увидела его, и знакомый страх сжал сердце. Она бросила украдкой взгляд направо, налево. Нет, появление этой группы в зале не привлекло внимания, взоры всех устремлены на сцену.

Владимир Ильич и рядом с ним Ефим Петрович остановились у крайнего окна, ближе к сцене. Ефим Петрович заглянул за портьеру — Ромка был на месте. Владимир Ильич поискал кого-то глазами, увидел Надежду Константиновну, и его взгляд сказал ей многое: и чтобы не беспокоилась, и что выступать он будет непременно.

Он вырвал из тетради полоску бумаги, написал на ней несколько слов, свернул как аптечный порошок и передал впереди стоящему. Внимательно следил за тем, как записка переходила из рук в руки, пока, наконец, не попала на стол президиума.

Председатель позвонил в колокольчик и объявил народный

митинг открытым. Он пригласил члена правления кадетской партии Водовозова занять свое место за ораторским столиком. Водовозов разложил на столе, как карты, мелко исписанные четвертушки бумаги, защемил на переносице пенсне и начал монотонно читать свою речь.

В зале стоял сдержанный шум. Профессорская речь мало кого интересовала. Не интересовала она, казалось, и самого оратора. Опустив вниз тяжелые, сонные веки, он что-то бубнил себе в прокуренные усы.

Ефим Петрович зорко оглядывал зал. У противоположной стены в кресле он приметил полковника Герасимова, одетого в штатский костюм, и очень обеспокоился. Ефим Петрович что-то шепнул своему соседу. Через несколько минут дружинники образовали вокруг Герасимова живую стену.

Ефим Петрович тронул Ромку за плечо.

— Проберись-ка вниз, — прошептал он. — У кабинета управляющего Григорий с «Вестингауза». Знаешь его?

— Неужели ж нет? — обиделся Ромка.

— Скажи ему тихо, на ухо, что Сыч припожаловал и что Ефим Петрович велел действовать. Понятно?

— Понятно! — подтвердил Ромка, сполз с подоконника и как угорь стал протискивать свое худое тело сквозь толпу.

В зале один оратор сменял другого, звучало много красивых слов о свободе.

Герасимов перебирал брелоки на часах, смотрел на лица рабочих: на одних было написано равнодушие, на других разочарование, на многих усталость. Живую искорку интереса он заприметил у немногих. Почему же эти малограмотные и усталые люди превращаются в такую деятельную силу, когда ими управляет социал-демократическая партия? Оторвать бы от рабочих их питающую и возбуждающую социал-демократию, проникнуть в партию и вырвать ее сердце — Ленина. Но как это сделать? Хорошо бы внедрить в социал-демократическую партию агента, подобного Азефу.

Азеф — один из руководителей партии эсеров, агент охранки. Начальник охранки купил его за тысячу рублей золотом в месяц. Дорого заплатил. Но зато партия эсеров-террористов сразу потеряла свое страшное значение. С Азефом встречается только он, Герасимов, даже шеф полиции не знает его настоящего имени. Царь осведомлен. И всё.

Азеф ночами заседает со своими боевиками и разрабатывает планы террористических актов против особ царствующего дома и членов правительства. Он отечески нежно благословляет молодых эсеров на совершение террористических актов, а под утро

встречается с Герасимовым и передает эти планы ему. Спустя неделю-две Азеф горько скорбит о повешенных террористах на заседании правления эсеровской партии.

Страшный человек! Чтобы его не разоблачили в своей партии, он иногда оказывается вдруг неосведомленным, и террористический акт совершается. Герасимов сам боится этого агента — Азеф может предать и его, начальника охранки, может подослать к нему своих убийц. Полковник с Азефом поэтому не ссорится и набавляет ему сотню-две золотых, когда тот настойчиво требует. Был бы такой агент в социал-демократической партии, Герасимов бы знал, где в данную минуту находится Ленин и что он будет делать в ближайшее время…

— Слово имеет господин Бартеньев, — прервал мысли Герасимова громкий голос председателя.

На сцену вышел маленький юркий человек. Герасимов пристально вгляделся в него. «А-а, — вяло подумал он, — социал-демократ Федор Дан. Сменил сегодня фамилию на Бартеньева. Не опасный. В охранке его карточка отмечена желтой галкой, как голова ужа».

— Братцы рабочие! — услышал Ромка голос оратора, выбираясь из зала в вестибюль.

Здесь было тоже тесно, и даже лестница, ведущая вниз на первый этаж, была забита народом. Имена ораторов и смысл их речей эстафетой передавались из зала.

Ромка поразился, какой галдеж стоял внизу. Все, о чем говорилось ораторами в зале, здесь горячо обсуждалось. «Что это за дарованная царем конституция, которая не дает рабочим никаких прав? Зачем нам Государственная дума, которая против царя пикнуть не смеет? Как добиться настоящей свободы?» — слышалось тут и там.

Григорий стоял у самых дверей кабинета управляющего, но Ромка не сразу до него добрался.

— Ну что? — спросил Григорий ястребка.

— Дядя Ефим сказал, что Сыч явился и пора действовать.

— Ясно, — ответил Григорий, — поможешь мне. Заходи быстро.

Ромка прошмыгнул в кабинет. В комнате был полумрак, свет от уличного фонаря освещал белого мраморного юношу, который, опершись одной рукой на каменный крест, в другой держал череп и задумчиво его рассматривал. Пахло цветами, чистотой, под ногами лежал толстый, как мох, ковер. Громко тикали огромные часы, и блестящая, как солнечный луч, стрелка равномерно перепрыгивала по кругу.

Вслед за Ромкой в кабинет зашел Григорий, запер дверь на ключ и отвернул угол ковра.

— Чтобы не наследить, ковер дорогой, — пояснил он. — Вот тебе кусачки. Забирайся ко мне на плечи.

Григорий был высокого роста, и Ромка чувствовал себя на нем прочно, как на дереве.

— Перережь провод, да побыстрее, — скомандовал Григорий.

Кусачки щелкнули, словно раскусили маленький твердый орешек. Ромка мягко спрыгнул на пол.

Когда он, все еще красный от волнения, снова пробрался в зал, председательствовала графиня. Она приглашала послушать «уважаемого члена Государственной думы адвоката Огородникова».

Высокий и красивый Огородников поднялся и не торопясь подошел к ораторскому столу. Он чуть вздернул рукава у запястий и стал глубокомысленно рассматривать свои руки, поворачивая их то ладонью, то тыльной стороной. Дамы немедленно отметили, что руки у него тонкие и породистые, хотя фамилия «фи, какая вульгарная».

Когда водворилась тишина, Огородников грустно посмотрел в зал и доверительно сказал:

— Плохое у нас правительство, господа!

Зал грохнул от рукоплесканий. «Вот это правильно! Что правда, то правда!» — кричали рабочие. «Какая смелость!» — восторгались господа либералы.

— Плохое правительство, — повторил Огородников. — Но Государственная дума сделает так, чтобы это правительство стало лучше. Мы заставим его считаться с желаниями народа. Наша партия уже начала переговоры с правительством. Правда, пока за чашкой чая. Мы хотим сделать всё полюбовно, без насилия, без насилия, господа. Мы против насилия как сверху, так и снизу. Социал-демократы призывают к забастовкам, к стачкам. Кому это нужно?

— Нам, рабочим, это нужно! — крикнул пожилой рабочий с балкона.

— Рабочие должны поддержать нашу партию, — ответил Огородников, — отказаться от бойкота Думы, и мы обещаем защищать всех людей без различия на основе завоеванной нами конституции. Мы должны быть вместе. — Огородников развел руки, словно хотел обхватить все три тысячи человек. — Представьте себе, господа, связанных по рукам одной веревкой либерала и социалиста, которых готов растерзать лев, огромный, дикий. Мы их призываем: разорвите веревку совместными усилиями, вам грозит опасность, а они вместо этого валтузят друг

друга ногами. И это одобряет… кто бы, вы думали? — Огородников сделал многозначительную паузу. Наступила тишина. — Ленин это одобряет, большевики. Они за насилие. А мы против всякого насилия. Самый умный и дальновидный социал-демократ Плеханов понял, что не надо было рабочим браться за оружие, что сила в единении либералов с социалистами. И мы аплодируем господину Плеханову, его мудрости…

«Ишь ты!» — взглянул на Огородникова прищуренным левым глазом Владимир Ильич.

Он стоял, чуть наклонив голову набок, слушал оратора и делал заметки в тетради. Он не чувствовал ни тесноты, ни ужасающей духоты, он только машинально расстегнул пуговку на косоворотке.

Огородников продолжал свою речь.

— Врет ведь, — досадливо сказал рабочий в кумачовой рубашке, — но врет складно, и черт знает как его вывести на чистую воду.

— Ленина бы сюда, — откликнулся пожилой рабочий, — а то кадеты замутят голову сладкими речами.

Ефим Петрович повернулся к говорившему:

— А Ленин сумел бы ему ответить?

— Будьте уверены! Буржуи пользуются тем, что Ленину невозможно выступать на митингах. Жандармы сразу его схватят. Но ничего, он им в письменном виде ответ подаст.

«Гм, гм, любопытно, весьма любопытно», — заметил про себя Владимир Ильич.

Огородников, перегнувшись через ораторский столик, с пафосом воскликнул:

— Народ проснулся! Он, как сказочный богатырь, прикоснулся к чудодейственному напитку свободы, поднесенному ему партией Народной свободы, и, выпив, почувствовал в себе силы великие. Идите за нашей партией, господа! Она друг народа. Она друг свободы.

В зале хлопали, не жалея ладоней, дамы кричали «брависсимо» и посылали оратору воздушные поцелуи.

Рабочие пожимали плечами: «Поди-ка разберись во всем этом. Может быть, господа кадеты и в самом деле добра желают».

Панина заглянула в записную книжечку.

— Наш следующий оратор — господин Карпов, — объявила она.

— Наконец-то! — прошептал Владимир Ильич, застегнул пуговку на вороте и стал пробираться вперед.

Ефим Петрович и несколько дружинников двигались за ним к

сцене.

— Мы просим господина Карпова быть кратким, — продолжала Панина, — уже полночь, люди устали, а у нас еще много ораторов.

Сидящие в задних рядах вытягивали шеи, чтобы рассмотреть нового оратора. До сих пор выступали известные всей стране адвокаты, профессора, члены Государственной думы, портреты которых часто появлялись в газетах. А Карпов? Кто такой Карпов?

— От какой партии? С какого завода? — шумели в зале.

Карпов легко и быстро взбежал по ступенькам на сцену и вежливо поклонился графине.

В разных концах залы ему захлопали и закричали «браво». Это были соратники Ленина, но их здесь было немного. Большинству собравшихся он был незнаком.

Надежда Константиновна с волнением наблюдала за Ильичем. Он подошел к ораторскому столику и, чуть опершись на него ладонями, неожиданно звонко и молодо воскликнул:

— Граждане! — и после паузы, как бы между прочим: — Господа!

На этом митинге пленительное и новое слово «граждане» было произнесено сегодня впервые и шелестом отозвалось в зале. Зал насторожился.

— Я постараюсь быть кратким и доступным, чтобы меня поняли и профессора.

— Весьма остроумное начало, — заметил Огородников. — Послушаем, что он скажет дальше.

Надежда Константиновна видела, что Ильич волнуется. На бледном лице горели глаза, ставшие из карих совсем темными, на крутом лбу блестели капли испарины. «Ну как ему не волноваться, — думала она, — ведь это его первое открытое выступление. Он так мечтал об этом!»

— Только что один из видных представителей Государственной думы, — продолжал Ленин, — присяжный поверенный Огородников утверждал, что буржуа и пролетариат связаны одной веревкой…

Владимир Ильич подошел к самой рампе, вгляделся в зал и тихо спросил:

— Есть здесь путиловцы?

— Как не быть? Есть! — ответило разом несколько голосов с балкона.

— Товарищи путиловцы, скажите, пожалуйста, вам приходилось видеть буржуа и рабочего, связанных одной веревкой, веревкой нужды, бесправия, угнетения, эксплуатации? Приходилось?

— Чего не приходилось, того не приходилось, — ответил пожилой путиловец под гул одобрения своих товарищей.

— Господин Огородников уверяет, — продолжал Владимир Ильич, — что либералы и рабочие, отданные на растерзание льву, объединяются для совместной борьбы. Отлично! Но как быть, если одни берутся за оружие, чтобы напасть на зверя, а другие, увидев на шее льва нагрудничек с надписью «Конституция», вопят: «Мы против насилия, бросайте оружие!» Вы верите, товарищи, в нагруднички? — спросил оратор, обращаясь к переполненному балкону.

Смех и рукоплескания были ответом на его слова.

Герасимов впился глазами в Карпова. «Неужели это Ульянов? По одежде — рабочий, но этот высокий лоб ученого? Другого такого нет».

— Мы слушали с вами ласковые речи кадетов… — продолжал Владимир Ильич.

Его прервал господин в сюртуке, с золотым пенсне на носу:

— Мы именуемся теперь партией Народной свободы.

— Подите вы! — вдруг рассердился Владимир Ильич. — Вы — партия мещанского обмана свободы. Военно-полицейская диктатура празднует свои бешеные оргии, экзекуции, и массовые истязания идут по всей России, а вы призываете к полюбовной сделке с царизмом, выступаете против насилий снизу. В феврале перед выборами вы обещали изгнать и отдать под суд преступных членов правительства, вы обещали созвать настоящую народную Думу. Почему вы не выполнили ваших обещаний?

Господин в золотом пенсне подскочил на месте:

— А кто вы такой? Кто вы — скажите-ка!

— Я — Карпов, — ответил Владимир Ильич и продолжал: — Может быть, многие из вас поверили, что кадеты — друзья народа и что они не собираются продать народную свободу царизму?

— От чьего имени вы говорите? — в бешенстве закричал Огородников.

— От имени рабочей партии. От имени пролетариата.

— Рабочие идут за нами. Вы сегодня в этом убедились, — надрывался Огородников. — Мы ведем пароход свободы.

Владимир Ильич быстро повернулся к нему:

— Вы — пароходные свистки, а рабочая партия в революции — это пар в котлах пароходной машины, — и, обращаясь к митингу, продолжал: — Будет пар в котлах — будут свистеть и свистки. Будет сила у революции — будут свистеть и кадеты.

Рабочие дружно зааплодировали.

Герасимов отметил, что усталость и равнодушие как ветром сдуло, он видел, как интерес к оратору перешел в доверие к нему.

Начальник охранки поднялся с места и, извиняясь перед дамами, стал пробираться к выходу.

— …Господин Огородников утверждал здесь, что у кадетов не было соглашения с царем и были лишь переговоры за чашкой чая, — продолжал развивать свою мысль оратор.

— Да, да, он так сказал, — подтвердили в зале.

— С кем же велись переговоры? — спросил Владимир Ильич притихший зал. — С Треповым! С тем самым Треповым, который дал приказ войскам и полиции против рабочих патронов не жалеть и холостых залпов не давать.

— Позор! Позор!.. — раздалось со всех сторон. Огородников выбежал к краю сцены.

— Никакого соглашения не было, велись только

переговоры! — крикнул он.

— А что такое переговоры? — парировал в упор Владимир Ильич. — Вы — адвокат, господин Огородников, и отлично знаете, что переговоры — это желание соглашения, и в данном случае соглашения с царизмом, как быстрее и лучше задушить революцию.

В зале зашумели.

Барин в пенсне повернулся лицом к публике и, не жалея голосовых связок, закричал:

— Этот Карпов подослан Лениным!

Он заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. На его свист обрушился шквал рукоплесканий. Рабочие, сложив ладони коробочкой, усердно хлопали, словно стреляли из ружей.

Серебряный колокольчик в руках графини тщетно пытался восстановить тишину.

Герасимов поймал себя на том, что ему хочется дослушать до конца и понять, чем силен этот человек. Герасимов также подумал о том, что не делал ли он все время ошибки, направляя главные усилия на борьбу с боевыми организациями рабочих. «Но неужели Ульянов так неосмотрителен, что явился сюда, на многотысячный митинг, и даже не надел парика?» Вот сейчас его упустить нельзя!

— Пропустите, господа, у меня важное государственное дело.

— Помолчи ты, господин хороший, — отмахивался от него рабочий в кумачовой рубашке, оказавшийся рядом. — Послушай лучше, что говорит оратор.

В зале звучал уверенный голос Ленина.

Владимир Ильич ходил по сцене и разговаривал с тремя тысячами жадно слушавших его людей. Огородников сидел за столом президиума и строчил бумагу.

— Перед вами выступал господин Бартеньев. — Владимир Ильич поискал глазами маленького Дана. — Выступал не от имени всей социал-демократии, а от правого крыла, от меньшевиков. Он призывал идти за кадетами и уверял, что кадеты ищут поддержки в народе. В этом он прав. Но Бартеньев умолчал о том, что либеральная буржуазия смертельно боится революционной самостоятельности пролетариата. Почему он об этом умолчал? Потому что господа меньшевики сами не верят в силу и самостоятельность пролетариата и отводят ему в революции роль скромного чернорабочего.

— Вы замахиваетесь на решения Объединительного съезда, — вдруг вынырнул откуда-то Дан.

— Я признаю обязательность решений съезда, но некоторые из этих решений ошибочны, а ошибки надо исправлять, —

заключил спокойно Владимир Ильич и вынул из кармана вчетверо сложенный лист бумаги. — Прошу заслушать предлагаемую мною резолюцию…

Надежда Константиновна удивленно посмотрела на Ильича. Он не говорил ей, что будет предлагать собранию свою резолюцию. Значит, это решение созрело здесь, на собрании.

— Простите, господин Карпов, но у господина Огородникова тоже есть резолюция, — возразила председательствующая Панина.

— Это чересчур, господа, — нервно взывал Огородников. — Захватить трибуну и протаскивать большевистскую резолюцию. Прошу заслушать нашу резолюцию…

Но в зале шумели:

— Даешь резолюцию Карпова! Карпов, читай!

— У нас есть еще ораторы. Мы дадим им слово? — спросила Панина, едва добившись какого-то порядка в зале.

— Нет! — единым дыханием ответил зал. — Резолюцию Карпова!

Панина опустилась на стул.

Владимир Ильич легким поднятием руки восстановил тишину.

Герасимов, потеряв самообладание, свирепо растолкал окруживших его дружинников, выбрался из зала. Вслед ему неслись слова:

— …Собрание заявляет, что партия Народной свободы — кадеты — выражает лишь робко и неполно народные требования, не выполняет своего обещания объявить созыв всенародного учредительного собрания…

— Это ваше личное мнение. Собрание думает иначе! — закричал взбешенный Огородников.

Ульянов продолжал:

— Мы предостерегаем народ от этой партии, которая колеблется между народной свободой и угнетающей народ старой самодержавной властью.

— Правильно… верно… — подтверждали в зале.

— …Собрание призывает крестьянскую «Трудовую» и рабочую группу в Государственной думе выступать решительно, совершенно независимо от кадетов, каждая со своими самостоятельными требованиями, и заявлять полностью требования народа. Собрание обращает внимание всех, ценящих дело свободы, на то, что поведение самодержавного правительства и полная неудовлетворенность крестьянских и общенародных нужд делают неизбежной решительную борьбу вне Думы, борьбу за полную власть народа, единственно способную

обеспечить свободу и нужды народа.

— Это же большевистская резолюция! — надрывался барин в золотом пенсне.

— Собрание выражает уверенность, что пролетариат по-прежнему будет стоять во главе всех революционных элементов народа.

— Вот это по-нашему! — крикнул рабочий с балкона. — А то кадеты распинаются, будто они ворочают рабочим классом.

Владимир Ильич протянул зачитанную резолюцию Паниной:

— Покорнейше прошу проголосовать.

— Голосовать! Голосовать! — потребовали рабочие.

— Будем голосовать резолюцию Карпова, — согласилась Панина, и было видно, что она уже справиться с собранием не может. Руководство митингом перешло в руки этого коренастого человека с простонародной фамилией Карпов.

— Прошу поднять руки, кто согласен с резолюцией Карпова, — обратилась Панина к собранию.

Зал ощетинился тысячами вскинутых рук.

Ромка встал на подоконнике во весь рост, откинул портьеру и высоко поднял свою худую руку. Он голосовал первый раз в жизни.

— Да здравствует победоносная революция! — чуть откинувшись назад, провозгласил Ленин, поклонился Паниной и исчез в толпе рабочих.

А в это время в кабинете управляющего начальник охранки Герасимов яростно крутил телефонную ручку.

— Станция! Станция! Барышня! Почему никто не отвечает? Что за чертовщина? Барышня! — Герасимов крутил ручку, и взгляд его скользил по телефонному проводу. — Дьявольщина! — прошипел полковник, увидев, что с карниза над дверью безжизненно свешиваются два конца перерезанного провода.

Из зала на лестницы выплеснулась песня:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног…

Рабочий в кумачовой косоворотке вскочил на подоконник, сдернул с себя праздничную рубашку и аккуратно стал ее разрывать на небольшие куски. И вот над головами людей затрепетали крохотные знамена.

Ромка и не заметил, как людской поток вынес его на улицу и он вместе со всеми уверенно выводил сиплым мальчишеским голосом:

Ненавистен нам царский чертог…

* * *

Поздний час ночи. Громко цокают копыта по булыжной мостовой, высекая подковами искры. Сонный извозчик лениво погоняет лошадей, седоки не торопят.

— Я очень доволен сегодняшним днем, — говорит Владимир Ильич.

Он уже в котелке, в темном пальто, белый воротничок с галстуком пристегнут поверх косоворотки.

— Вот ты и поговорил по душам… — отзывается Надежда Константиновна. — Поначалу волновался…

— Как никогда! — признается Владимир Ильич. — И давно так не радовался, как сегодня. Замечательное чувство — контакт с рабочей аудиторией, и я счастлив, что моя резолюция принята вполне сознательно… Ты уловила какие-нибудь интересные реплики?

— Со мной рядом сидел профессор, очевидно из области юриспруденции, — смеется Надежда Константиновна. — Он убеждал своего соседа, что из тебя получился бы великолепный адвокат.

Владимир Ильич рассмеялся так заразительно, что даже извозчик оглянулся — чего это господам так весело!

Надежда Константиновна всегда чувствует себя счастливой, когда слышит этот смех… Сложная у них жизнь, маетная. Но никакой другой, размеренной и удобной жизни она и не хотела бы.

— Ты что-то сказала? — прерывает ее мысли Владимир Ильич.

— Нет, просто думаю.

— О чем?

— Уж очень хороша весна и эти прозрачные майские ночи!

— И какая мерзкая жизнь на этой прекрасной земле… — Владимир Ильич взглянул на цветущие сады по обеим сторонам улицы. — Мне хотелось бы самому услышать, когда не поэты, а рабочие, крестьяне сами скажут: прекрасная штука эта жизнь!